

**ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СРЕДНЕГО УРОВНЯ
И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ**

Аннотация: В статье анализируется масштабный проект М.А. Барга по созданию исторической теории среднего (промежуточного) уровня, призванный освободить историческое знание из-под подавляющего влияния социологии. На примерах сравнения проектов М.А. Барга, В. Шефера, Э. Вульфа и других показана актуальность этого проекта для современной мировой исторической науки. Вместе с тем отмечается сдвиг современных вариантов исторической теории среднего уровня в сторону неклассического знания.

Ключевые слова: историческая теория среднего уровня, общественно-экономическая формация, диалектика, формационный регион, стадийный регион, географический детерминизм, конструктивизм, цивилизация.

Об авторе: Игорь Николаевич Ионов – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. 117331, Москва, ул. Крупской, д. 7, кв. 63. e-mail: ionov@mail333.com

Для того, чтобы понять значение теоретических работ М.А. Барга для отечественной и мировой исторической науки, необходимо проанализировать обстановку, в которой они родились, обратить внимание на состояние исторического знания в 1970 – начале 1990-х гг. Ведь, как писал М.А. Барг, «каждый культурно-исторический период в рамках данной цивилизации создает свой тип историографии, в основе которого лежит специфический для этого отрезка времени стиль исторического мышления»[4 с.25]. Помочь нам может концепция «процесса цивилизации», предложенная еще в 1930-е гг. немецким социологом Н. Элиасом и развитая в XXI в. его учениками, в частности голландским социологом К. Вутерсом. Теория Н. Элиаса связывает эволюцию разных, в том числе научных форм рациональности с ходом рационализации или формализации норм человеческого поведения. Как показал

К. Вутерс, формализация поведения – это противоречивое явление, для которого характерны тупики [14 с.140-143; 15 с. 125-128] и их преодоление при помощи смены вектора процесса. В частности, описанная Элиасом долгая эпоха нарастающего самоконтроля индивида и внешнего контроля общества за человеческим поведением в XVI–XIX вв. сменяется на рубеже XX в. эпохами более или менее контролируемого снятия контроля над поведением (1890-е, 1920-е, 1960 – 1970-е гг.), которые К. Вутерс называл эпохами информализации поведения [37 с. 167-170, 174-175]. Они, в свою очередь, сменяются в 1900 – 1910-е, 1930 – 1950-е, 1980 – 2010 гг. эпохами реформализации, когда контроль над поведением снова нарастает [37 с. 31, 106, 206, 213-214; 171-174, 176-197].

Для эпох формализации и реформализации характерно доминирование авторитарной личности, живущей навязанными обществом убеждениями, воспринимаемыми как собственные. Такой тип личности охарактеризовали социолог и психолог Э. Фромм и американский социолог Д. Рисмен, связавшие ее с «бегством от свободы» и некритической, догматической рациональностью [30, 32: XII–XIII, XXXI, р. 1-25]. Для эпох информализации характерен рост роли более эмоциональной личности, критически относящейся к господствующим убеждениям, ориентирующейся не на власть и истеблишмент, а на мнение своей референтной группы, для которой характерна критическая рациональность. К. Вутерс связывал реформализацию и информализацию соответственно со «второй натурой» человека – автоматически действующим конформизмом и «третьей натурой» – осмысленным отношением человека к своим природным импульсам и поведенческим нормам верхушки общества [37 р. 21, 24-25, 36, 186, 197-221].

Каждую из этих эпох можно ассоциировать с определенным типом исторического сознания, догматического и критического [17 с. 49-51].

Особенностью советской ситуации было то, что хотя

господствовавший в историческом сознании марксизм изначально был ориентирован критически, он получил распространение в России в 1890-е гг., в эпоху информализации, когда релятивизм атаковал логоцентрические, монистические, эссенциалистские, объективистские, детерминистские и прогрессистские схемы, на которых был основан марксизм. Это было воспринято как наступление на социалистические идеалы. Началась борьба против неопозитивистского релятивизма с опорой на традиционный позитивизм. В эпоху реформализации 1900 – 1910-х гг. она обострилась. Книга В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» (1909) [19] ознаменовала поворот к неприятию критического рационализма и приобрела парадигмальное значение для марксизма-ленинизма. В результате периоды наступлений информализации поведения, критической рациональности и критического исторического сознания были во многом пропущены российскими марксистами и их последователями в мире. В 1920-е гг. информализационные эксцессы в одних областях (отношениях полов) сопровождались в СССР нарастанием догматизма в других (в том числе в исторической науке). В результате в реформализационные 1930-е гг. на фоне утверждения некоей пародии на викторианство в поведении сложилась система советского исторического знания, ориентированного на последовательное отстаивание интересов власти. Во второй половине 1950 – 1980-х гг. борьба с историческим релятивизмом, игравшим большую роль в идеологии демократического протеста в странах социалистического лагеря, сдерживала попытки распространения творческого марксизма, использовавшего отход от сталинизма для развития научного знания.

Основной проблемой передовых историков было то, что советский марксизм был замкнутой и догматичной системой, из которой не было выхода к современным исследовательским подходам. Хотя предисловия с набором цитат классиков марксизма часто писались формально, но по самой своей задаче каждая книга по истории должна была верифицировать теорию

исторического материализма, социально-экономических формаций и классовой борьбы. То есть выводы историка в идеале представлялись как бы дедуктивно выведенными из формул исторического материализма. Во всяком случае, невозможно было индуктивно «поправить» исторический материализм, исходя из материала, представленного историком. Сфера социальной теории в СССР была сакрально выделена и табуирована для свободной интерпретации. На это, еще в начале 1970-х гг. указывал М.А. Барг, считая такое подчиненное положение исторической науки ненормальным, дискредитирующим историческое знание [1 с. 249]. В итоге создалось противоречие между отстаиваемой властью нормой и практикой исторических исследований в рамках творческого марксизма.

Хотя в разное время в 1960 – 1970-е гг. масштабы академической свободы в СССР были разными, статус конкретно-исторического исследования при повторяющихся попытках его дистанцирования от теории социально-экономических формаций в этих условиях был неясен, не закреплён методологически в рамках господствующих марксистских представлений, не задан как норма, а следовательно идеологически сомнителен, нелегитимен как для государства, так и для доминирующей авторитарной личности. Для того, чтобы изменить этот статус, надо было вписать историческую науку в марксизм как самостоятельное направление исследований, дистанцировать ее от догматики, как философской (по Баргу, общесоциологической, уровень теории формаций), так и конкретно-социологической (законы движения отдельных формаций) [1 с. 249].

Это была масштабная задача более высокой сложности, чем отдельные атаки на марксизм-ленинизм. Именно в это время, в эпоху информализации 1960 – 1970-х гг., сопровождаемой критической трансформацией исторической рациональности, возникли попытки пересмотреть соотношение объективных и субъективных факторов истории (А.Я. Гуревич), формационные характеристики российского общества (М.Я. Гефтер), проблему роли пролетариата в российских революциях

(П.В. Волобуев). Однако СССР стал к этому времени мощной контрреволюционной силой, выступив против демократической революции в Чехословакии. Поэтому методологические нововведения вызвали здесь политический отпор и карательные санкции власти. В этих условиях единственной реальной возможностью отстаивания прав истории как науки оставалась попытка, не затрагивая поля исторического материализма как философской и социологической теории, выделить сферу собственно исторического знания как *особый казус*, лишь в конечном счете соотносящийся с формационной схемой. Только таким образом можно было превратить закрытую систему исторического знания в открытую. По определению это была бы зависимая сфера знания, подчиненная общим закономерностям исторического материализма, иерархически менее высокая, чем теория марксизма, но имеющая собственные основания в марксистской диалектике, связанные с представлениями об особенном, конкретном, локальном, преходящем, единичном, случайном. Рядом с марксистской социологической теорией высшего уровня намечалось место для марксистской исторической теории среднего уровня.

Роль марксистской диалектики в репрезентации прошлого двояка. К.Р. Поппер показал, что такого рода игры с сознанием приспособлены для оправдания основанных на догматической установке, аподиктических, неопровергаемых историцистских схем, опирающихся на утопическую перспективу в будущем (например, коммунизм) [23 с. 38-39]. При их помощи, возникающие когнитивные диссонансы разрешаются не в ходе уточнения образа прошлого, а при помощи утопий. Это способы манипуляции сознанием, распространение которых в обществе связано, по Попперу, с глубокой психологической травмой [24 с. 321]. К.Р. Поппер объяснял устойчивость догматической установки как «бесконтрольного желания навязывать регулярности» с особенностями мышления «невротиков и других психически больных людей» [25 с. 88-89; 226-227]. Параллельно с ним американский психолог А. Маслоу

писал о когнитивных патологиях как предпосылках «преждевременных обобщений» [31 VII, р. 16-19, 23]. Догматизм и невроз находятся в циркулярной связи: так, диалектика позволяет затушевывать противоречия патогенных «двойных предписаний» марксизма (идеал гуманизма и оправдание геноцида в форме «войны классов», идеал демократии и тоталитарное государство и т. п.), которые американский антрополог Г. Бейтсон считал причиной деформации сознания и невроза [5 с. 232-233, 266-267, 275].

Но в борьбе за статус исторического знания методы диалектики могли быть обращены и против догматизма. Ведь они могли помочь «предписать симптом» невроза, т. е. создать терапевтические «двойные предписания» (как их называл Г. Бейтсон) в форме диалектических противоречий, обостряющие и преодолевающие невроз [5 с. 253, 330; 15 с. 124, 128-129]. Исторический материализм как универсальное общезначимое знание об эволюции общественных процессов оставлял в стороне знание локальное, конкретное. Он не только выполнял методологическую роль в историческом знании (как основа материализма и объективизма), но и навязывал свой предмет реальности прошлого – последовательные стадии развития человеческого общества, которые выступали как фатальные, а не вероятностные; целостные, а не дискретные. Социология при этом вытесняла историю, превращала ее в свою «служанку»; образы овеществленных достижений общества и безликих народных масс затмевали образы отдельных людей и их творческой деятельности, что отвращало думающих историков-марксистов, таких как М.А. Барг [4 с. 26-27]. Это позволяло развести социологическое и историческое, создав терапевтическое «двойное предписание».

Одновременно это делало возможным своего рода «пространственный поворот» в марксистском историческом знании. Пространственное, локальное воплощение истории можно было отчасти дистанцировать от ее временного универсального воплощения (последовательность формаций) и

даже от ее временного конкретного воплощения (особенности отдельных формаций). Речь не шла о покушении на марксистскую теорию формаций, которой творческие марксисты оставались верны. Стояла лишь задача «конкретизации... законов внутриформационных» [1 с. 251]. Благодаря диалектике они не противопоставлялись теории формаций, но могли существовать отдельно от нее или рядом с ней, соотносясь иерархически. Это были как бы два среза истории, дополняющие друг друга. Можно в связи с этим говорить о томографическом подходе к прошлому, позволяющем дать его полный, многогранный, объемный образ на основе сочетания множества срезов. Этот подход в его современной форме соответствует *мультиперспективизму* и перекрестной истории французских историков М. Вернера и Б. Циммерманн как его наиболее последовательному воплощению [7]. В иерархии наук временному измерению исторического материализма соответствовал статус философии и социологии и их абстрактно-теоретические законы, а пространственному измерению исторической науки – статус конкретно-исторического знания, исторические закономерности проявления общих тенденций в «общественной практике людей... продиктованной их интересами, волей и сознанием» [4 с. 26].

Именно этот проект, имевший принципиальное значение для советской исторической науки, предложили в 1970 – 1972 гг. М.А. Барг и Е.Б. Черняк в форме теории стадияльно-регионального типа, исторической теории среднего («промежуточного») уровня [1 с. 250]. Предмет социологического знания они определили как *формационный регион*. В этом понятии выражается сущность данной формации и эпоха существования данной формации целиком. Оно отделяется историками от понятия *стадияльного (исторического) региона*, которое соответствует особенностям того или иного периода существования формации, обладает локальной спецификой по отношению к формационному региону, отражает влияние неформационных воздействий, возникает и исчезает на протяжении времени существования формации, испытывает разнообразные модификации во взаимодействии с соседями [1 с. 264-272; 2 с. 40-47].

Понятие стадияльного региона не противоречит марксизму как таковому ни в духе, ни в букве. Стадияльный регион определяется доминированием тех или иных формационных отношений. Вместе с формационным регионом они оставляют «общее поле» теоретической истории [1 с. 250]. Но эта теория среднего уровня позволяла снизить градус догматичности исторического знания в целом, степень его зависимости от философской и социологической теории. Это попытка дистанцировать *содержательную, предметную* функцию теории социально-экономических формаций от ее *методологической* функции, марксовых законов истории и конкретно-исторических закономерностей, различать сущность и явление, универсальное и локальное, философский монизм и эпистемологический плюрализм. Ее важнейшая стратегическая цель – закрепить теоретическую функцию за историческим знанием, дополнить дедуктивную рациональность исторического материализма индуктивной рациональностью конкретной истории [4 с. 26]. При внешне последовательном и даже утрированном субстанционализме концепции М.А. Барга, именно упор на формационные отношения как сущностные позволял дистанцировать их от области исторических явлений; разделить их несколькими значимыми барьерами с точки зрения общего и особенного, формы и содержания, количества и качества, логического и исторического, возможного и действительного, наконец, «формационного» и «неформационного»(!), легитимизируя возникающие противоречия как диалектические, т. е. привычные для марксистского дискурса [1 с. 253-257, 261, 265, 275].

Это была методологическая революция, не сравнимая по масштабу с попытками атаковать догматику на отдельных направлениях. Во-первых, в центр конкретно-исторического знания ставился не марксистский метод, а исторический предмет и профессиональные методы его изучения. Соответственно изменялась историческая типология. М.А. Барг писал: «...если мы признаем действительным принцип, согласно

которому метод задается предметом, то сама по себе объективная диалектика общего, особенного и единичного в любом из звеньев исторического процесса сталкивает историка с проблемой типологии» [3 с. 205]. Во-вторых, взаимодействие стадияльных регионов задавало невозможную ранее в советской историографии, сложную картину воздействий внутренней и внешней естественной и исторической среды (с акцентом на демографию), связанных с ними внутриформационных отклонений, меняло картину последовательно разворачивающихся формаций на картину параллельно существующих формационных и неформационных укладов (отчасти реабилитируя осужденную ЦК КПСС теорию многоукладности М.Я. Гефтера). В-третьих, образовывались сложные результаты переходов и взаимодействий, такие как внутриформационные (межстадияльные) кризисы, не связанные с данной формацией культурные явления, этнические взаимодействия, что значительно усложняло картину прошлого [2 с. 59; 4 с.27-28]. В-четвертых, ставились такие тяжелые для марксиста вопросы, как невозможность четкого определения формационной принадлежности обществ Азии или доколумбовой Америки [2 с. 29]. И все это делалось легально, на основе изощренной интерпретации марксистской теории.

Изменялся сам вопросник историка. Он переориентировался с абстрактного на конкретное и был защищен при этом от догматических претензий неисториков. Возникли характерные для деконструктивизма варианты традиционных понятий во множественном числе («капитализмы») [1 с. 266]. Это был выход из тупика замкнутого на себя догматизма, предложенный марксистами во имя развития марксизма, возвращающий марксизму его критический дух. Закрытая схема становилась хотя бы отчасти открытой для рефлексии и изменений. Внутри нее могло вызревать новое содержание. С точки зрения Г. Бейтсона и П. Вацлавика, это принципиально меняло положение: «двойные предписания», хотя бы в какой-то своей части, подвергались осмыслению,

возникал метанарратив по поводу исторического знания, а также различие содержания и предписания, что делало познавательную ситуацию менее патогенной [5 с. 253, 300; 6 с. 134, 163]. Это было преобразование исторической рациональности в критическом духе, созвучное эпохе информализации, которую переживал мир в 1960 – 1970-е гг., и от которой СССР был трагически оторван.

Реализуя свой замысел, М.А. Барг разработал в 1970 – 1980-е гг. богатую внутриформационную типологию, объяснявшую локальные «разрывы» и «перепады» в развитии обществ, «многоуровневость» и «политритмичность» исторического процесса. Для него важны также межформационные отношения, как он выражался, «взаимодействие социальных организмов различной формационной принадлежности», порождающее исторические альтернативы; он описывал «пестроту и неравномерность» включения отдельных регионов в формационные процессы, что отчасти размывало прогрессистский детерминизм марксистской историографии, которая рассматривает историю как закономерное следование стадий развития [3 с. 90].

Вектор эволюции этой марксистской исторической теории в 1970 – 1991-м гг. очевиден: от экономцентризма к культурцентризму, к анализу культуры как *ядра цивилизации*. Причем статус понятия «культуры» при характеристике стадияльного региона был высок с самого начала [1 с. 266-267]. Постановка вопроса менялась от паллиативных попыток конкретизации формационного знания в концепции стадияльного региона до жесткого дистанцирования от «догматизированной философии» и до прямой критики «формально-формационного подхода», дополнения формационного подхода цивилизационным. Это путь размежевания с «марксистско-ленинской», а точнее сталинской, образца «Краткого курса истории ВКП(б)», версией истории, путь к критической исторической рациональности, к позиции творческого марксиста. Цивилизация к 1990-му г. стала

пониматься М.А. Баргом как особая сущность: «идеальная тотальность общественной жизни, творческая активность людей в рамках определенной пространственно-временной целостности» [4 с. 25-26, 28]. Культура как форма исторической жизни оказывается у него шире экономики. Именно она определяет социальную структуру общества на всех ее уровнях, начиная с уровня семьи и кончая уровнем классов, открывая путь к изучению истории повседневности [4 с. 27].

Актуальность этой тематики для отечественного исторического знания очевидна. Барговские темы соотношения времени и пространства, переходных эпох в истории, особенностей их исторического сознания до сих пор вдохновляют исследователей [8, 18, 21, 22, 29]. Я уже не говорю о цивилизационном подходе, одним из инициаторов изучения которого стал М.А. Барг. Выходит основанный им альманах «Цивилизации», его идеи остаются центральными для осмысления цивилизационной проблематики [13, 20]. Но гораздо более сложным является вопрос о месте М.А. Барга в мировой историко-теоретической мысли. Слишком большим был разрыв между советской и мировой исторической наукой (особенно в области теории), слишком разные задачи решали историки разных стран, слишком тяжким бременем давили на советских историков «пропущенные» эпохи 1920-х и 1960 – 1970-х гг., принесшие революционные изменения в областях информализации поведения, рациональности и особенно в историческом сознании. Тем не менее, параллели в ходе мысли историков разных стран довольно очевидны.

Параллели

Идея М.А. Барга об актуальности обращения к экологической тематике в изучении истории развивал ряд современных ему авторов, как в России (Э.С. Кульпин), так и в мире. В данном случае нам интересен подход видного немецко-американского историка левых взглядов В. Шефера, лауреата

премии А.Дж. Тойнби, изложенный в статье «Глобальная история: историографическая возможность и экологическая реальность» (1993) [33 р. 47-69]. Он, как и М.А. Барг, ставил проблему соотношения целостного и конкретно-локального в истории. Холистский идеал западной социологии и всеобщей истории его тоже не удовлетворял. Глобальная история для Шефера – история человеческих взаимодействий, но что не менее важно – это история разнообразных *пределов* человеческой деятельности, прежде всего в области экологии. Именно исследование этих пределов, по его мнению, придает глобальной истории свойства эмпирического исторического исследования. Поэтому, признавая реальность процесса глобализации, Шефер принципиально отрицает утопическую составляющую глобальной истории, которая может оправдать присутствие в ней метафизических обобщений, основанных на идеалах человеческого единства и методологии холизма [33 р. 47-48]. Но он идет еще дальше М.А. Барга по пути сближения с микроисторией. Для него интегрирующая роль микроистории в профессиональном историческом знании является частью мировоззрения, и глобальная история как эмпирическое исследование возможна только на микроисторическом фундаменте. Путь от дедукции через индукцию продолжается им в сторону абдукции по К. Гинзбургу [9 с. 189-241].

Именно в области истории экологических проблем, подчеркивает В. Шефер, глобальная картина прошлого нуждается не в прозрениях «глобального разума», а в анализе «множества микроакторов», объяснении того, как они конкретно действуют в тех или иных обстоятельствах времени и различных географических зонах. К этому прибавляется плюральность экологических проблем и способов их решения. Маловероятным представляется ему то, что вообще существует некий глобальный вывод из локально сфокусированных практик и верований. Глобальное при соприкосновении с экологической проблематикой превращается из метафизического в историческое (которое определяется В. Шефером как *Globality*), из холистского в

плюральное, включающее анализ множественных реальностей и множественных решений [33 р. 63]. Широко распространенный социологизаторский объективистский подход к глобальной истории, ориентация на объяснение глобального сменяются или по крайней мере дополняются здесь историческим герменевтическим подходом, ориентацией на понимание.

В. Шефер видит различие между всеобщей историей и глобальной историей именно в том, что первая принадлежит исключительно макроистории, в то время как вторая необходимо вторгается в область микроистории. Тем самым он провозглашает идеал мультиперспективизма, предвосхищает проект М. Вернера и Б. Циммерманн, близкий, как мы видели, и М.А. Баргу. При этом он, как и Барг, ставит задачу соединения макроистории и норм дисциплинарного исторического знания. «Глобальная история должна быть достаточно большой, чтобы схватить планетарные процессы современности и достаточно малой, чтобы удовлетворить требованиям нормального академического исследования... <так что> глобальная история является историей частных, изучающей глобальные процессы XX века» [33 р. 64]. Позднее, в 2010 г. в статье «Перестраивая региональные исследования для Глобального века» В. Шефер снова писал о *«стратегической дефрагментации»* исследований. Ее цель он видит в изучении глобальных проблем в локальных контекстах и наоборот. Если в условиях «холодной войны» можно было говорить о границах и «сущности» регионов, то теперь мировые границы зыбки и изменяемы. Объекты истории культур конструируемы и ситуативны, можно скорее говорить о региональных историях, написанных с разных позиций. Но вывод Шефера резко отличается от вывода М.А. Барга. Для Шефера разрыв с универалистской традицией истории предполагает отход от теорий локальных цивилизаций от О. Шпенглера и А.Дж. Тойнби до У. Макнила. На место представлений о локальных цивилизациях как системах (а на деле – на место реифицированных конструкторов имперского исторического воображения) приходит репрезентация глобальных проблем и их

истоков – локальных культурных особенностей. При этом В. Шефер считает важнейшей задачей историков сохранить при новых поворотах исторической мысли накопленное знание о региональной истории, лингвистическую компетенцию специалистов-страноведов и навыки работы с локальным, часто уникальным материалом (*cultural Fingerspitzengefühl*) [35 S. 1, 4]. В результате в центр изучения у В. Шефера выходят не локальные цивилизации, а глобальная научно-техническая цивилизация, как особая принципиально детерриоризованная историческая сила, которую нельзя локализовать. Она является сетью практик и служит «нервной системой» современного мира, «мясом и костями» которого являются локальные культуры. Ее основа – практика человеческого взаимодействия и коммуникации от Каменного до Глобального века. Такой подход позволяет Шеферу соединить глобальную и локальную историю, разграничив при этом представления о цивилизации (глобальной) и культурах (локальных) [35 S. 5-10; 34 p. 301-319].

Характерно, что В. Шефер до сих пор пытается сформулировать и уточнить свои представления об исторической теории среднего уровня, идя в том же направлении, что и М.А. Барг, от социологизаторской, универсализирующей версии всеобщей истории к перекрестному варианту глобальной истории, сочетающему черты макроистории и микроистории, причем опирается на возможности локалистского, экологического подхода, на которые указывал еще М.А. Барг. Но Шефер придерживается при этом гораздо более критического, чем у М.А. Барга, взгляда на теорию локальных цивилизаций, которую постколониальная критика 1970 – 2010-х гг. тесно связала с имперским мышлением. М.А. Барг понимал эти проблемы, но считал их преходящими, принципиально решаемыми, связанными с историческим сознанием определенной эпохи, с одним конкретным, линейно-стадиальным вариантом теории цивилизаций [4 с. 29-30]. В настоящее время представления о локальных цивилизациях гораздо сильнее связываются с имперскими и экспансионистскими претензиями обществ как Запада, так и Востока, обладающих

цивилизационным сознанием и стремлением доминировать над миром «варваров» [16 с. 159-203, 264-305].

Еще более интересно сопоставление теоретических изысканий М.А. Барга с поисками современных ему зарубежных историков-марксистов, ставших основоположниками многих ключевых для современного знания методологических направлений. Примером такого диалога может служить творчество одного из основоположников постколониальной картины мира и миросистемного подхода, американского антрополога Э. Вульфа (1923 – 1999), который подобно М.А. Баргу боролся с «мифотворчеством» и «идеологически нагруженными... дезориентирующими схемами» социологии, в частности с теорией модернизации. Вульф, также как Барг, ставил проблему соотношения методологии и предмета исторического исследования, решая ее еще более радикально, так как он был марксистом, а теория модернизации защищала антимарксистскую позицию. Вульф считал, что в рамках теории модернизации «каждый стремится создать модель, по видимости объясняющую "твердые" наблюдаемые факты, а на деле — идеологически нагруженную схему, направленную на то, чтобы сузить определение предмета исследования. Такие схемы выдают самодостаточные ответы, так как феномены, не покрываемые моделью, выводятся за пределы специализированного дискурса». Это делается при помощи подмены предмета исследования реифицированными элементами «абстрактного конструкта» (подобно формациям в марксизме). «Имена, таким образом, становятся вещами... ложными моделями реальности». В результате «стало легко превращать чисто эвристические рассуждения о методе в теоретические постулаты об обществе и культуре» [36 р. 5, 7, 10, 12-13].

Однако, если марксизм-ленинизм создавал целостную картину мира и истории, и для М.А. Барга было важно выделить ее локальные составляющие (стадиальные регионы, цивилизации), то модернизационная картина мира выделяла национальные государства, превращала картину мира в образ «сталкивающихся

бильярдных шаров», и для Э. Вульфа, напротив, было важно создать целостную (холистскую) картину мира при отрицании возможности всеобщей (универсальной) истории. В этом он был близок не сторонникам теории цивилизаций, а адептам миросистемного подхода, таким как И. Валлерстайн. Однако, при этой очевидной разнице Э. Вульфа сближает с М.А. Баргом интерес к локальным сообществам (для Вульфа это уровень догосударственных микро-популяций), трактовка К. Маркса не как экономического детерминиста, а как материалиста, «историка конфигураций... материальных отношений», связывавшего понятие производства с экологическими, социальными, политическими и социально-психологическими предпосылками (культуру Э. Вульф в отличие от М.А. Барга считал лишь частью идеологической надстройки, «политического проекта» [36 с. 387]). Их сближает внимание к взаимодействию локальных обществ как предпосылке истории. Для Вульфа эта идея является центральной. Он ставит своей основной целью борьбу с «вековыми фикциями, отрицающими факты постоянных связей и вмешательств» одного общества в жизнь другого. Взаимосвязь для него – парадигмальное понятие. Как общество, так и цивилизация трактуются как системы взаимосвязей, особое внимание уделяется проницаемости границ и истории контактов. Изучаемым казусом у Вульфа, как и Барга, становится сеть межрегиональных связей, а не отдельный национальный казус, как в теории модернизации и не формационный казус, как в теории социально-экономических формаций [36 р. 18, 21, 23, 71]. Впоследствии это направление знаний разделилось на тематическое и теоретическое подразделения, первое из которых называли *транснациональной историей*, а второе – рефлексивной историей отношений и соотносящей историей (*relational history*) [16 с. 306-320].

В книге «Европа и люди без истории» (1982), которой в «Википедии» посвящена отдельная статья, Э. Вульф впервые попытался включить в картину глобальной истории образы народов, лишенных западной историографией не только собственной истории, но и подлинных имен (так называемых

«индейцев», «негров», «первобытные» и «традиционные» культуры). Следуя примеру неомарксиста Э.П. Томпсона, Вульф решил дополнить «историю победоносных элит» описанием прошлого аутсайдеров, «людей без истории», в круг которых он включал не только «первобытные» народы, но и крестьян, рабочих, мигрантов и побежденные меньшинства [36 р. IX-X, 4-5, 8, 10, 18]. Вульф выдвинул собственную неомарксистскую схему многолинейной, переплетающейся, ситуативной социальной эволюции. Предмет его интереса – сложные последствия воздействия Запада на американские и африканские общества, активность незападных обществ в ходе модернизации, а также образы порожденных этой ситуацией «плюральных (межформационных! – *И.И.*) сообществ», возникших в результате целой цепи сложных связей и взаимодействий. Тем самым Э. Вульф сделал шаг вперед по сравнению с У. Макнилом, который в 1963 г. обратил внимание на взаимодействия цивилизаций как объект конкретно-исторического анализа [36 р. 3-4, 10, 40, 77, 379-380, 391, 401-402, 425].

Э. Вульф, как и М.А. Барг, не признавал положения, при котором в исследовании обществ «не остается места для человеческого сознания». Но Вульф в отличие от В. Шефера далек от микроистории. Его занимает *средний уровень* макроисторических моделей. Он находит в их соотношении способ соединения локального (микро-популяций) и глобального. В результате его модель, как и у М.А. Барга и В. Шефера приобретает мультиперспективистский характер. В результате субстанционалистские понятия, которые создавались, чтобы отражать «сущность» и «логику истории», как и у М.А. Барга, обретают множественное число. Появляется место для многих ситуативных, случайных, зависящих от обстоятельств (*contingent*) колониализмов, модернизаций, индустриальных революций. Тем самым традиционная вестернизаторская теория модернизации Т. Парсонса и У. Ростоу оказалась подорванной в самих своих основаниях. Подобный подход был освоен израильским социологом Ш.Н. Айзенштадтом позже и развит не столь

последовательно [36 р. 3-4, 10, 40, 77, 379-380, 391, 401-402, 425].

Представление о цивилизации у Э. Вульфа тесно связано с его теорией феодализма, в западных и восточных вариантах которого (различение которых было важно и для М.А. Барга), он видит «осцилляции вокруг одного способа производства», взаимодействие которых в рамках «всемирной системы связей» и определяло историю. Цивилизация, по его мнению, – это надстройка над данническим способом производства. Она поэтому имеет центром не определенную культуру, а представляет собой зону культурного контакта нескольких культур, оформленную при помощи политического или торгового взаимодействия даннических обществ. Важное для Вульфа понятие – «цивилизационная орбита», обозначающее арену, на которой сосуществуют и соперничают множество культурных символов, связанных с иерархическими представлениями о космическом и социальном порядке, отношениях эксплуататора и эксплуатируемого, проблемах власти и самоконтроля, нормах смены власти [36 р. 71, 82-83].

Таким образом, несмотря на диаметрально противоположность исходных точек, марксисты М.А. Барг и Э. Вульф приходят к сходным представлениям о том, как теория цивилизаций подчинена теории способов производства, как каждый способ производства создает особые меняющиеся социальные конфигурации и их проекции в определенных географических и исторических условиях. Поэтому понятие способа производства не ассоциируются у них со стабильностью и консенсусом по поводу норм исторического знания. Пересечения стадияльных регионов (у Вульфа это «зоны пересечения способов производства») вызывают взаимодействие сил, естественно порождающее нестабильность. Поэтому социальные проекции не могут мыслиться как самодостаточные, они зависят от разнообразных внешних связей [36 р. 387].

Только в представлении о культуре Э. Вульф коренным образом расходится с М.А. Баргом. «Концепт определенной, целостной и имеющей границы культуры должен смениться

представлением о текучести и проницаемости культурных сетей», — пишет он. В борьбе со структурализмом Э. Вульф отрицает преемственность развития культуры. В ходе беспорядочных общественных взаимодействий социальные группы используют неопределенность культурных форм, заимствуют формы, более соответствующие их интересам как ответ на изменившиеся условия. Внедрение этих форм — вопрос манипуляций и механического повторения, вытеснения альтернативных символов и категорий из легитимного поля соперничества, превращения их в «невидимки» путем их ассоциации с беспорядком и хаосом, угрозой обществу. В данном случае Вульф сближается с постмодернистским методологическим, нереифицируемым представлением о культуре как *мере различия* [36 р. 387-388].

Таким образом, можно сказать, что М.А. Барг решал задачи, стоявшие в 1970 – 1990-х гг. перед советской исторической наукой, на мировом уровне, в духе эпохи информализации, определившей суть того времени, ознаменованного многочисленными «поворотами», задавшими современное положение исторического знания, причем его теоретические подходы сохранили свое значение по сей день. Вопрос о предмет-ориентированной исторической теории среднего уровня остается актуальным и решается во многом сходными способами. О колебательных процессах между социологическими и культурологическими версиями истории пишут Г. Иггерс и Э. Ван [12 с. 409]. Л.П. Репина показывает, что историописание продолжает существовать «между “полюсами” двух базовых типов объяснения — через мотивы человеческой деятельности или через природные факторы и социальные структуры, ее обуславливающие... социальные процессы, являющиеся потенциальными причинами деятельности людей, столь же нуждаются в специальном исследовании, сколь и факты обыденного сознания, через которые они реализуются» [26 с. 77-78, 124, 145]. Другой вопрос, что отставание исторической науки в СССР во времена М.А. Барга было столь существенным, что ни стоявшие тогда теоретические проблемы, ни даже способы их решения не сохранили своей актуальности. Но достижения

М.А. Барга помогают нам понять историографическую ретроспективу многих современных тенденций в глобальной и транснациональной истории, теории цивилизаций, связать отечественную и мировую традиции теории исторического знания.

Перспективы

Движение в сторону пространственного измерения истории, социально-экологической истории и антропологизации истории, которое начал М.А. Барг, имеет универсальное значение, но одновременно разрушает тот теоретический контекст, в котором оно родилось: детерминистский, субстанционалистский, объективистский, в рамках которого возможно непосредственное взаимодействие этой версии исторического знания с историческим материализмом, марксизмом и классической рациональностью вообще. Д.Н. Замятин, географ, изучающий особенности локальных моделей реальности, рассуждая о цивилизационном подходе пишет: «В общем виде можно говорить о трех когнитивных уровнях: *географический детерминизм*, занятый поиском строгой причинной связи между географическими условиями и закономерностями развития конкретной цивилизации; *географический POSSИБИЛИЗМ*, утверждающий вероятностную связь между всею природно-географическими ограничениями и возможностями и способами географической адаптации определенной цивилизации в их динамике; и наконец, *геоспациализм*, или *геоспациализм*, (термин и понятие введены мной. – Д.З.), в рамках которого локальная цивилизация и географическая среда представляются неразрывными частями, элементами цивилизационно-пространственной целостности (образа, историко-географического образа)» [10 с. 132]. Далее он поясняет свою мысль о способах интерпретации идеи локальности каждым из этих подходов: «в рамках геодетерминизма более “приземленно”, скорее на примерах материальной культуры; в рамках геопоссибилизма – с бóльшим

акцентом на вероятностность и методическую гибкость, вариативность самого характера локальных знаний; в пределах геоспациализма – с особым вниманием к цивилизационно-пространственному переносу и диффузии, а также к трансформациям самих локальных знаний в зависимости от географической динамики цивилизаций» [11 с. 166].

Противоречием в использовании пространственного измерения истории является то, что географический детерминизм связан с классической рациональностью и объективистски интерпретирует активность среды, побуждающей людей к определенным действиям. При этом природа, как подчеркивает Д.Н. Замятин, «осознанно или неосознанно, считается вынесенной как бы за рамки активных и меняющихся человеческих представлений и независимой в своем образе от них» [10 с. 132]. То есть географический детерминизм последовательно игнорирует собственно историческую и в особенности историко-культурную составляющую, о которой писал М.А. Барг, говоря о стиле исторического мышления данной цивилизации [4 с. 25]. Только в данном случае речь идет о стиле географического мышления. В рассуждениях самого М.А. Барга мы сталкиваемся скорее с географическим POSSIBILISME в стиле школы «Анналов», в частности Ф. Броделя, отчасти учитывавшего активность человеческого сознания и данной цивилизации по отношению к внешней среде, наличие некоего нормативного образа этой среды. Но, как отмечает Д.Н. Замятин, в географическом POSSIBILISME «природа остается все же тотальным внешним "зеркалом" для всякой цивилизации» [10 с. 134].

Активность человеческого сознания по отношению к пространству последовательно осознается, по мысли Д.Н. Замятина, только в рамках геоспациализма, под которым он понимает *конструктивистское* отношение к пространству. Эта неклассическая версия интерпретации локальности раскрывает роль «гуманитарной» или, если угодно, «воображаемой» географии, позволяющей человеку и цивилизации

переосмысливать и реконструировать собственную среду. В этой интерпретации пространства место актора занимает не природа, а человек в истории, его «локальное воображение». Для теории цивилизаций особенно важно то, что при взаимодействии цивилизаций в пространстве или во времени «можно говорить о транзитных, переходных географических образах гибридного характера, содержащих интерпретации географического пространства исчезнувшей или чужой цивилизации – так, как они возможны с точки зрения представителя другой цивилизации» [10 с. 134-135].

Но эта проблематика «глубокого прочтения» географических образов, впервые возникшая у американского антрополога К. Гирца и остро актуальная со времен создания постколониальной критики Э.В. Саидом, поставившим понятия воображаемых (имагинативных) географии и истории в центр своей критики востоковедения [27 с. 87], полностью выпадает за рамки марксизма и материалистических представлений об истории (особенно сильно она противоречит ленинской теории отражения). Двигаясь в этом направлении, М.А. Барг должен был бы разрушить синтез формационных и цивилизационных представлений.

То же можно сказать о движении М.А. Барга в сторону перекрестной истории М. Вернера и Б. Циммерманн. По видимости, их проекты создания предмет-ориентированной исторической теории среднего уровня, сочетающей генерализирующие и индивидуализирующие подходы; т.е. теории, работающей на границах универсалий (пространство и время) и как бы создающей томограмму прошлого, очень близки: «...речь идет о возможности излагать между несколькими точками зрения наблюдения, – пишут Вернер и Циммерманн, – и учитывать множественные связи между ними, при этом признавая их историческую конституированность» [7 с. 75]. Но соотношение классических, особенно дедуктивных и неклассических, конструктивистских методов в их концепциях совершенно разные. За образом стадиального региона или цивилизации М.А. Барга всегда стоит формационная теория и

дедуктивный идеал К. Маркса, стремившегося выстроить образ формации из одной «клеточки». М. Вернер и Б. Циммерманн принципиальные индуктивисты; кроме того, их теоретические подходы заведомо не являются фиксированными. Они более последовательно, чем М.А. Барг, применяют идею о том, что именно предмет определяет метод и невозможно создать метод, который бы подходил для разных предметов. Эти методы последовательно конструируются в ходе исследования по ситуативной потребности на основе профессиональных и культурных компетенций историка [3 с.205].

С этим связан ряд обстоятельств. Во-первых, сомнительность для них применимости идеологически нагруженной теории цивилизаций. Поэтому М. Вернер и Б. Циммерманн негативно относятся к попыткам положить теорию цивилизаций в основу исторической компаративистики. Они указывают на неправомерность подхода, при котором «концепт цивилизации, сформировавшийся при определенных исторических условиях, пытаются утвердить в качестве общего базиса для сравнения». Они подчеркивают, что дело не спасает и введение в предпосылки анализа представления о поле возможных отклонений, так как это мешает достичь надежности полученных результатов, особенно в случае многостороннего сравнения [7 с. 64-65]. Во-вторых, это принципиальная ориентация на смену теоретических и культурных позиций историка; одним из важных инструментов исследования для них являются «расхождения, вытекающие из множественности языков, терминологий, категоризаций и концептуализаций, традиций и дисциплинарного использования понятий» [7 с. 62], что исключает доминирование какой-либо идеологии, исторической или социологической теории, даже единственной, позволяющей рассматривать прошлое материалистически.

Это предполагает конструктивистское обращение к неклассической рациональности, при котором «взаимопересечения перспектив и сдвигов в точках рассмотрения» позволяют, по мнению создателей перекрестной

истории, «пересобрать» элементы таким образом, чтобы родилось новое знание. Взаимопересечение «функционирует как активный принцип, в котором динамика познания развивается в соответствии с логикой взаимодействий, различные элементы которых конституируются в отношении друг к другу или друг через друга». Получается, что все зависит от ситуации, «динамических взаимодействий» субъектов и предметов знания, исторических оснований знания. Противоречия разрешаются в сфере прагматики диалога как поля смыслопорождения или «пространства понимания», разрушение которого равнозначно поражению [7 с. 87-89].

* * *

Представленная картина формирования исторической теории среднего уровня в творчестве М.А. Барга позволяет сделать двоякий вывод. Способы разрешения противоречий исторического знания, предложенные М.А. Баргом в 1970 – 1990-х гг. были близки существовавшему тогда в мировой науке уровню исторического сознания и были безусловно передовыми для СССР. Они решали ключевые проблемы: преодоления замнутости марксистской историософской схемы, инициирования метакоммуникации по поводу специфики конкретно-исторического знания, осмысления когнитивных диссонансов, порожденных «двойными предписаниями» как следствиями догматизма классической рациональности и особенно исторической теории марксизма-ленинизма. До сих пор маневрирование на границе классической и неклассической рациональности имеет примерно те же цели и осуществляется историками близкими способами.

Но сравнение опыта М.А. Барга и последующих тенденций развития исторического и гуманитарного знания показывает, что движение в направлении, обозначенном М.А. Баргом, приводило к изживанию классической рациональности и растущему влиянию неклассической рациональности, стратегий деконструкции (дереификации у В. Шефера, десубстанционализации у Э. Вульфа) и конструктивизма, что

уменьшает значение конкретных познавательных приемов, предложенных М.А. Баргом, в частности, синтеза формационного и цивилизационного подходов. Область исторической теории среднего уровня оказалась за эти четверть века сдвинута далеко в сторону неклассической рациональности. Но сам этот проект и идеал исторической теории среднего уровня были и остаются актуальными, а значит актуальной и нуждающейся в постоянном переосмыслении остается теоретическая мысль М.А. Барга.

Литература

1. *Барг М.А.* 1970: Учение об общественно-экономических формациях и конкретный анализ исторического процесса // Очерки методологии познания социальных явлений / Под ред. Д.М. Угриновича, О.В. Лармина, А.К. Уледова. М., 249-298.
2. *Барг М.А., Черняк Е.Б.* 1975: Регион как категория внутренней типологии классово-антагонистических формаций // Проблемы социально-экономических формаций: историко-типологические исследования / Под ред. Е.М. Жукова. М., 40-77.
3. *Барг М.А.* 1984: Категории и методы исторической науки. М.
4. *Барг М.А.* 1990: О категории «цивилизация» // Новая и новейшая история. 5, 25-40.
5. *Бейтсон Г.* 2000: Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии. М.
6. *Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д.* 2000: Прагматика человеческих коммуникаций. Изучение паттернов, патологий и парадоксов взаимодействия. М.
7. *Вернер М., Циммерманн Б.* 2007: После компаратива: *Histoire croisée* и вызов рефлексивности // *Ab Imperio*. 2, 59-90.
8. *Время в координатах истории.* 2008: Тезисы международной научной конференции / Отв. ред. *М.С. Бобкова*. М.
9. *Гинзбург К.* 2004. Приметы. Уликовая парадигма и ее корни // *Гинзбург К.* Мифы-эмблемы-приметы: Морфология и история. М., 189-241.
10. *Замятин Д.Н.* Геоспациализм. 2011^a: Онтологическая динамика пространственных образов. Статья 1. На пути к геоспациализму: пространство и цивилизация в зеркале гуманитарной географии // *Общественные науки и современность*. 5, 129-138.

11. *Замятин Д.Н.* 2011^б: Геоспациализм. Онтологическая динамика пространственных образов. Статья 2. Цивилизация, проект Модерна, глобализация и геоспациализм // *Общественные науки и современность*. 6, 165-173.
12. *Иггерс Г., Ван Э.* 2012: Глобальная история современной историографии. М.
13. *Ионов И.Н.* 2007: Цивилизационное сознание и историческое знание: проблемы взаимодействия. М.
14. *Ионов И.Н.* 2013: Глобальная история и изучение прошлого России. Статья 3 // *Общественные науки и современность*. 5, 138-153.
15. *Ионов И.Н.* 2014: Глобальная история и изучение прошлого России. Статья 4 // *Общественные науки и современность*. 6, 123-140.
16. *Ионов И.Н.* 2015^а. Мировая история в глобальный век: новое историческое сознание. М.
17. *Ионов И.Н.* 2015^б. Проблемы современной макроистории. Статья 1. Шаг вперед, два шага назад? // *Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории*. 50. М., 34-58.
18. Историческое знание и познавательные практики переходных периодов всемирной истории. 2012: Сб. науч. статей /Отв. ред. *М.П. Айзенштат*. М.
19. *Ленин В.И.* Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной идеологии. Электронный ресурс. URL:<http://www.magister.msk.ru/library/lenin/len14v00.htm><http://www.magister.msk.ru/library/lenin/len14v00.htm>
20. *Морозов Н.М.* 2014: Концептуализация исторического знания о российской цивилизации на рубеже XX-XXI вв. Кемерово.
21. Переходные периоды во всемирной истории. 2011: Тезисы международной конференции / Отв. ред. *М.С. Бобкова*. М.
22. Переходные периоды во всемирной истории. Трансформации исторического знания. 2012: Сб. науч. статей / Отв. ред. *М.С. Бобкова*. М.
23. *Поппер К.* 1992^а: Открытое общество и его враги. Т.1. Чары Платона. М.
24. *Поппер К.* 1992^б: Открытое общество и его враги. Т. 2. Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. М.
25. *Поппер К.Р.* 2004: Предположения и опровержения: Рост научного знания. М.

26. *Репина Л.П.* 2011: Историческая наука на рубеже XX–XXI вв. Социальные теории и историографическая практика. М.
27. *Саид Э.В.* 2006: Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб.
28. Темпоральность исторического пространства. 2009: Сб. науч. статей / Отв. ред. *М.С. Бобкова*. М.
29. Формы и способы презентации времени в истории. 2009: Сб. науч. статей. / Отв. ред. *С.Г. Мереминский*. М.
30. *Фрамм Э.З.* 2009. Бегство от свободы. М.
31. *Maslow A.* 1966: The Psychology of Science. A Reconnaissance. New York; London.
32. *Riesman D., Glazer N., Denny R.* 2001: The Lonely Crowd. The Study of the Changing American Character. Abridged Edition with a 1969 Preface. New Haven, London.
33. *Schaefer W.* 1993: History: Historiographical Feasibility and Ecological Reality // Conceptualizing Global History / Ed. by B. Mazlish, R. Buultjens. Boulder, 47-69.
34. *Schäfer W.* 2001. Global Civilization and Local Cultures: A Crude Look at the Whole // International Sociology. Vol. 16. 3, 301-319.
35. *Schäfer W.* 2010: Reconfiguring Area Studies for the Global Age // Globality Studies Journal: Global History, Society, Civilization. 22. December 22, 1-18. Электронный ресурс. URL:<https://gsj.stonybrook.edu/wp-content/uploads/2010/12/0022Schafer.pdf>
36. *Wolf E.* 1982: Europe and the People without History. Berkeley.
37. *Wouters C.* 2007. Informalisation: Manners and Emotions since 1890. London.